

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

*Посвящается
60-летию
Великой Победы*

**ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В ГОДЫ ВОЙНЫ, 1941—1945:**

дневники, воспоминания,
письма, документы

Санкт-Петербург
2005

Для Лекции

№ 2005-3368 / 8

ЭПИЗОДЫ, ВСТРЕЧИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ¹

Работа архивистов и библиотекарей не часто находит отражение на страницах книг и журналов. Тем интереснее будет познакомиться с воспоминаниями сотрудника сектора Дом Плеханова Отдела рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ныне Российской Национальной библиотеки, Елены Семеновны Коц, посвятившей этой работе тридцать лет жизни.

Е. С. Коц родилась в 1880 году в Дагестане, где ее отец служил военным врачом. С 1898 году, окончив Ольгинскую гимназию во Владикавказе, училась на Курсах воспитательниц и руководительниц физического образования профессора П. Ф. Лесгафта в Петербурге. Но закончить их не смогла, так как в январе 1901 года за участие в студенческом организационном собрании по подготовке демонстрации была выслана из Петербурга без права въезда в крупные города России. Елена Семеновна уехала в Париж, где изучала французский язык и слушала лекции по истории и другим гуманитарным наукам в Сорбонне и Русской Высшей школе общественных наук. После возвращения в Петербург, в 1907—1911 годах училась в Вольном университете на Высших историко-литературных и юридических курсах. В 1913 году сдала экстерном экзамены за курс юридического факультета Петербургского университета и получила диплом I степени. В течение ряда лет Е. С. Коц занималась литературной и переводческой деятельностью, служила в различных юридических учреждениях. Ее статьи, разъясняющие крестьянам вопросы законодательства, в виде брошюр издавались журналом «Земледелец». В годы Первой мировой войны Коц работала секретарем Юридического отдела Областного комитета Союза городов, являлась одним из составителей популярного среди военнослужащих «Справочника о пенсиях и льготах военнослужащим и их семьям».

После революции Е. С. Коц продолжала юридическую службу в ряде советских учреждений. В 1922—1923 годы участвовала в работе «Комиссии по исследованию истории труда в России», сотрудничала в журналах «Архив истории труда в России» и «Русское прошлое». По результатам исследования материалов Министерства внутренних дел ею написан ряд статей о волнениях и побегах крепостных крестьян в эпоху царствования Николая I и книга «Крестьянские движения в России», вышедшая в серии «Историческая библиотека».

С января 1929 года Е. С. Коц начала свою деятельность в Доме Плеханова (V филиал ГПБ), сначала в должности внештатного консультанта, а затем главного библиотекаря. С 1939 года, в связи с отъездом Р. М. Плехановой во Францию, она фактически руководила работой. Коц стояла у истоков формирования Дома Плеханова как научно-исследовательского учреждения. Под ее руководством были разработаны принципы описания рукописей плехановского архива, создан научно-справочный аппарат к нему; проделана сложная работа по разбору разрозненных листов архива, в результате которой был восстановлен ряд неизвестных произведений Г. В. Плеханова, первоначальных редакций и вариантов уже опубликованных статей. Ей принадлежала ведущая роль в подготовке к печати сборников «Литературное наследие Г. В. Плеханова»: составление плана сборников, подбор материала, написание комментариев, предисловий, археографических и исторических справок, расшифровка и подготовка рукописей к печати, правка корректуры². Под руководством Е. С. Коц велась работа по созданию уникального указателя «Библиография произведений и писем Г. В. Плеханова». Как опытный архивист и знаток плехановского рукописного наследия она была привлечена к подготовке к печати «Избранных философских произведений Г. В. Плеханова: В 5 т», издававшихся Институтом философии АН СССР в 1956—1958 годы.

В годы блокады Ленинграда Елена Семеновна работала в группе по созданию коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне», где вела систематическую картотеку газетных и журнальных статей. Ее труд был оценен государственными наградами — медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945».

Елена Семеновна Коц умерла в Ленинграде в 1967 году.

Воспоминания Е. С. Коц заканчиваются 1960 годом. Они охватывают период с конца 1880-х до 1959 г. — года ее выхода на пенсию — и интересны тем, что прекрасно передают дух времени, наполнены яркими и острыми наблюдениями автора, деталями быта. Переданные в Дом Плеханова дочерью Елены Семеновны, Валентиной Александровной Коц, в марте 1997 года, мемуары представляют собой авторизованную машинопись в 280 листов. Публикуемый с некоторыми сокращениями текст является частью этих воспоминаний и отражает жизнь и работу Е. С. Коц во время Великой Отечественной войны.

* * *

22 июня 1941 года в чудесный солнечный день я вышла с племянником на Большой проспект. Что-то странное творилось на улице. Люди толпились у репродуктора. И вдруг слышим слова Молотова³: война. Вмиг перевернулась вся жизнь.

На службе начались занятия по противовоздушной обороне. Надо было запомнить, какой запах имеют разные ОВ⁴ на случай химической бомбежки. Мы зубрили — запах сена, или гвоздики, или еще какой-то, а про себя посмеивались: будет нам до того, чтобы соображать, чем он пахнет, когда это в самом деле случится! А я спрашивала у инструктора: «Ну, а если фугасная бомба, тогда что делать?» Зато инструктораж по борьбе с зажигалками принес свою пользу. Не один пожар был предотвращен дежурными на крышах и на чердаках, в том числе, конечно, и вездесущими, шустрыми мальчишками.

Дежурили и мы на огромном чердаке дома на 4-й Красноармейской, предварительно засыпав его пол песком. Всюду стояли теперь бочки с водой и песок — на всех пролетах лестниц, ну и, конечно, огнетушители. В защите нашего «объекта» мы объединились с соседним филиалом Публичной библиотеки, помещавшемся в здании Вольно-экономического общества⁵. Кроме дежурств, в наши обязанности входило затемнение всех окон, для чего надо было сделать шторы из черной бумаги. В этой работе нам очень помог единственный мужчина нашего коллектива — Климович⁶. Всего нас работало в Доме тогда шесть человек. Адель Семеновны⁷ среди нас уже не было. Еще до отъезда Розалии Марковны⁸ она выбыла из нашего коллектива, к большому нашему огорчению. После тяжелого воспаления легких у нее сделалась гангрена, которая перешла на ногу. Ей отняли ногу выше колена, и она, хоть и выжила, но осталась инвалидом, притом инвалидом, обреченным на неподвижность. То ли возраст, то ли слабый организм был причиной, но она не научилась ходить на протезе и почти все время лежала. Мы старались скрасить ее существование и помочь ей материально, придумывая для нее всякие ненужные работы, без которых вполне можно было обойтись. Но они как-то связывали ее с нами, прежней ее интересной и содержательной жизнью.

В литературно-издательской нашей группе с ее уходом остались мы вдвоем с Татьяной Зиновьевной⁹, и последний сборник, вышедший в свет, был сделан уже только нами и без участия Розалии Марковны. То же и следующие три еще неопубликованные до сих пор сборника¹⁰.

В начале войны в коллектив Дома, кроме нас двоих, входили новые сотрудники — упомянутый выше Климович, работавший над «Плехановианой» и Купреянова¹¹, приводившая в порядок хаотический архив Розалии Марковны. Еще были двое старожилов — отличная машинистка Евгения Эрастовна Семенова¹², самый близкий из нас друг Розалии Марковны, работавшая в Доме со дня его основания, и уборщица Полина Александровна Иванова¹³, или попросту Поленька, как мы ее звали, т. к. состояли с ней в самых дружеских отношениях.

Дом расположен был в военном отношении очень неудачно. В районе Красноармейских, о чем свидетельствует самое название улиц, находилось много казарм, то есть военных объектов, подходящих для бомбежки. Но пока еще бомбежек не было — они начались только в сентябре. Предвидя их возможность, стали готовиться к ним. Прежде всего, стали наклеивать на окна крест на крест бумажные полоски. Считалось, что они спасут стекло от удара воздушной волны. Но, увы, это был напрасный труд. С бумажками и без бумажек стекла вылетали с одинаковым успехом. Затем в домах оборудовались бомбоубежища, а в садах, на площадях и в скверах рылись щели, которыми, правда, очень мало кто пользовался из застигнутых налетом на улицах.

В это же время началась эвакуация населения. Город пустел.

На вокзале эшелоны с отъезжающими стояли на разных путях и простаивали по несколько дней. Люди успевали несколько раз съездить в город и вернуться обратно, а их эшелон все стоял. Ехали целыми семьями со всяким домашним скарбом, как настоящие переселенцы. Некоторых все же хватало на то, чтобы принять какие-то меры для охраны своего остающегося в Ленинграде имущества. Делали опись в присутствии управдома. Другие в панике бросали все на произвол судьбы. И, конечно, потом не могли себе этого простить, возвращаясь на пустое место. Опись, хотя и не вполне, гарантировала от расхищения, но во многих случаях спасала, если не все, то часть оставленных в квартире вещей и обстановки. Наши уехали, очертя голову, ни о чем не думая и, конечно, потеряли все. Нельзя было рассчитывать на то, что мы, остающиеся в Ленинграде, сможем предотвратить расхищение этих, так называемых «бесхозных» вещей. Правда, трудно было тогда предвидеть, в какое положение попадем мы сами, и будет ли это в наших силах, да и до того ли нам будет, когда над нами каждую минуту висела смерть. Какое значение имели вещи, когда каждый день мы узнавали о новых ужасах, о погибших и искалеченных при бомбежках и обстрелах, об умерших от голода, да и сами еле передвигали ноги.

Эвакуация населения действительно скоро прекратилась, и эта первая партия наших знакомых и друзей выехала чуть не с последними эшелонами. Позднее, уже в 1942 году, эвакуация возобновилась, но тогда она проходила в более опасных условиях. Город был окружен вплотную, и связь с «большой землей» поддерживалась по единственной ниточке, знаменитой ладожской трассе, получившей чудесное название «дороги жизни». Ехать приходилось либо по льду зимой, либо на баржах весной и летом, а озеро гитлеровцы беспощадно бомбили. Но другого выхода не было — уезжали люди, уже обреченные на смерть от голода, в последней стадии дистрофии. Здесь верная смерть, там — какой-то шанс на спасение. И многие шли на риск и выигрывали жизнь в этой страшной игре.

Бомбежки начались в первых числах сентября. Чуть ли не сразу немецкие летчики одержали большую победу — они разбомбили и подожгли огромные Бадаевские склады продовольствия. Для них это была большая удача, для ленинградцев — настоящая катастрофа. При той ничтожной дозе продуктов, которые в течение двух с половиной лет выдавались населению по карточкам, сторовшие на складах продукты вероятно спасли бы немало людей от смерти. Особенно обидно было, что погибло много такого существенного для питания продукта, как сахар.

Дня через четыре после первых бомбежек и я получила свое боевое крещение. На службе мы объединили свои дежурства с соседним филиалом. Дежурили по очереди, по одному человеку, в их помещении, в большом вестибюле, выходявшем окнами на 4-ю Красноармейскую. Для дежурного был поставлен диван и стол с телефоном. Диван помещался у стены, примыкавшей к уборной, большое окно которой выходило в вестибюль и находилось как раз над диваном. Особенного смысла, на мой взгляд, эти дежурства не имели, разве что *post factum* дежурный должен был сообщить по телефону начальству о ЧП или о том, что ночь прошла без такового.

В ночь на 11 сентября я оставалась на дежурство. Недавно Татьяна Зиновьевна напомнила мне, что вечером того дня я позвонила ей, что у меня почему-то жуткое настроение и я хотела бы, чтобы она приехала. Но она не могла. Я осталась одна во всем здании. Вообще я не трусиха и нервы у меня довольно крепкие, но это было что-то совсем другого порядка, что-то вроде предчувствия. Итак, я сидела у стола и читала, спать еще не хотелось. Кругом стояла мертвая тишина, какая бывает ночью в большом безлюдном помещении.

Публичная библиотека направляла к нам на подмогу одного товарища из МПВО. Пришла и на этот раз девушка и отправилась вместе с пожарником на чердак. Было одиннадцать часов вечера, когда в эту тишину внезапно ворвался сокрушительный грохот, зазвенели вылетающие из рам стекла, погасло электричество. Фугасная бомба попала в дом напротив и снесла начисто флигель, примыкавший к улице. Красноармейские улицы очень узкие, так что при ничтожном отклонении угла бомба попала бы в наш дом. Чудом этого не случилось. Но в этот момент мне даже не пришлось это в голову. В дежурке стали появляться люди. Первая вбежала ни жива, ни мертва девушка из МПВО. Оказалось, что взрывная волна перебросила ее через балку на чердаке, и она стремглав пустилась вниз. Она была безумно перепугана. Тогда я вышла на улицу, где работала уже спасательная команда, и свела ее в бомбоубежище в соседний дом.

Вернувшись обратно, я застала такую картину. Весь мой диван был покрыт толстым слоем стекол, вылетевших из окна уборной. Здесь я все-таки

ужаснулась при мысли, что, будь это поздней, все стекла посыпались бы на меня, а ранения от стекол считались очень опасными. В это время из квартиры, которую занимал в том же здании наш пожарник с многочисленной семьей, стали приносить одного за другим перепуганных сонных ребят. Всех их пришлось пока разместить на усыпанном стеклами диване. Происходило это при свете летучей мыши, принесенной пожарником. Я снова вышла на улицу. Там сновали люди, верхней тени людей, так как нельзя было нарушать затемнение и все их действия производились в полутьме. Картина бала фантастическая и жуткая. Когда прошло первое потрясение, я позвонила в Библиотеку — не знаю только кому от этого стало легче.

Прошло несколько дней. Наш район усиленно бомбили — падали на крышу зажигалки, на чердаке валялись осколки бомб. Мы с заведующей соседним филиалом, Верой Александровной Каратыгиной¹⁴, решили поговорить с дирекцией о том, что работа в этом районе представляет большую опасность. Я собрала осколки и поехала в Библиотеку. В кабинете директора собралось много народу, но его самого не было. Я стала ждать, прислушиваясь к не слишком утешительным разговорам. У всякого был в запасе случай, который он мог рассказать, — пережил ли, наблюдал сам, либо слышал от других. Наконец зашел Вольпер¹⁵, который в то время был директором Библиотеки. У него на глазах бомба снесла дом на углу Стремянной и Дмитровского переулка.

Вообще люди в отношении бомбежек резко делились на две категории. Одни обязательно бежали в бомбоубежище, другие просто не выносили этого томительного сидения в толпе случайных людей — жильцов дома или прохожих, загнанных милиционером, дворником, дежурным по дому в подворотню или подъезд, и предпочитали «искушать судьбу», оставаясь дома, или путешествуя под бомбами по улицам.

* * *

Между тем немцы все теснее сжимали кольцо вокруг Ленинграда. Они были уже в Пулковке, в пригородах — Пушкине, Павловске, Гатчине, Стрельне, а Нарвская застава стала настоящим фронтом. Естественно, что при таких условиях, мысль о возможности захвата города могла тревожить и самых заядлых оптимистов. В связи с этим надо было подумать не только об эвакуации населения, но и о вывозе ценностей, которые гитлеровцы расхищали или уничтожали. Публичная библиотека, в фондах которой хранится много редких, старинных, ценнейших изданий и громадный рукописный материал, стала готовиться к отправке их в глубокий тыл¹⁶. Нам, в Дом Плеханова, прислали пятьдесят ящиков. Несколько дней мы упаковывали в них самые важные материалы — все рукописи, тетради, записные книжки, письма Плеханова, все письма его корреспондентов.

тов и все, по возможности, книги из его личной библиотеки. К сожалению, не все вместились в присланные нам ящики. Пришлось оставить значительную часть русской периодики — комплекты «Русского богатства» и «Современного мира» и других журналов. Приходилось выбирать. Конечно, все зарубежные издания вольной русской прессы, иностранную периодику, почти полный комплект «Neue Zeit» надо было увезти в первую очередь, но после их упаковки выяснилось, что места не хватает. Это было очень печально, потому что воинская часть, занявшая Дом через некоторое время, истребила, то ли на топливо, то ли на курево, много оставленных нами книг.

Когда все в Библиотеке и у нас было готово к отправке, встал вопрос о сотрудниках, которые будут сопровождать транспорт. Многие, конечно, охотно уезжали из ленинградского ада, тем более, что некоторым разрешено было забрать с собой свои семьи. Составилась довольно большая группа, в которую вошли, в основном, ответственные работники во главе с директором. Мне и в голову не приходило ехать. И вдруг меня вызывает Вольпер и заявляет безапелляционно, что я еду с материалами Дома Плеханова. Я пришла в ужас — ведь он, как начальство, мог не посчитаться с моими желаниями и послать меня, несмотря ни на какие возражения. Тут я вступила в бой и заявила категорически, что никуда не поеду. Он (удивленно): «Почему?» — Я: «Что я там буду делать? И как я могу оставить в такой опасности мать и дочь, а сама сидеть в тылу?» — Он: «Сентиментальные соображения». — Я: «Пусть сентиментальные, но я не поеду».

После долгих уговоров он согласился оставить меня в покое и назначил хранителем плехановских материалов очень симпатичного сотрудника Библиотеки, с интересом относившегося к нашему Дому, к Розалии Марковне — Бриллианта¹⁷, который обещал мне с полным вниманием и заботой относиться к нашим материалам.

Местом эвакуации был избран город Мелекес, находящийся в Башкирской АССР. Я никогда не жалела о том, что не поехала. Не говоря уже о том, что я не могла оставить своих на произвол судьбы, я понимала, что изведусь там от безделья, притом среди мало или почти незнакомых и чужих для меня товарищей. Работая на отшибе, я почти не имела связей среди сотрудников Библиотеки. Делать в Мелекесе действительно было нечего. Но именно поэтому вернувшиеся после войны материалы оказались не только в отличном состоянии: их вынимали, проветривали, делали все для их сохранности, но и описанными по всем правилам, т. е. проверенными и перечисленными с величайшей точностью, чего мы за недостатком времени не могли сделать. А товарищи, обжившись в Мелекесе, стали понемногу входить в местную жизнь и приносить населению посильную пользу.

После отправки в тыл плехановских материалов, мы остались не у дел. Но тут нас выручила интересная инициатива заведующей соседним филиалом Каратыгиной. Это была умная и очень красивая женщина, с властным характером, отличный организатор и прекрасный работник, притом настоящий знаток библиотечного дела. Она заведовала соседним с нами филиалом местного хозяйства. В числе других работ там собирались материалы и о Петербурге-Ленинграде. Естественно было на базе этого уже обработанного материала создать раздел «Ленинград в блокаде». Так возникла организация, поставившая своей задачей, с одной стороны, коллекционирование документальных материалов военного времени, относящихся главным образом к Ленинграду, — воззваний, листовок, плакатов, афиш и других материалов, вплоть до пригласительных билетов — с другой, библиографирование всех книг и журнальных статей, заметок и т. п. о блокированном городе и боевых действиях его защитников. Организация эта носила название «Коллекция Ленинград в Великой Отечественной войне». В нее вошли, кроме постоянных сотрудников филиала местного хозяйства и остававшихся еще в Ленинграде плехановцев, несколько товарищей из Публичной библиотеки — всего 17—18 человек.

Нас перевели с Красноармейской в центральное здание на углу Садовой и Невского. Мы расписывали подробнейшим образом все местные ленинградские газеты и журналы и извлекали относящийся к Ленинграду материал из наиболее крупных центральных изданий. Ну и, конечно, учитывали все книги о блокаде, о партизанском движении в Ленинградской области, о боевых действиях на нашем фронте. Описания сопровождалась аннотациями во всех случаях, когда заглавие не говорило само за себя. Всю эту массу материала надо было как-то систематизировать, чтобы им можно было пользоваться. Решили создать предметно-тематическую картотеку, чем я и занялась. К концу войны получилась картотека примерно в сто тысяч карточек. Кроме нее были каталоги книг и другие картотеки. Пишу об этом так подробно, упоминая цифры, для того, чтобы было понятно, к чему приводит трусость, боязнь за свою шкуру и невежество.

После войны, когда коллекция уже переместилась снова на Красноармейскую, из Библиотеки явилось начальство и, не удосужившись даже познакомиться поближе с этой работой, вынесло «компетентное» решение уничтожить все без остатка. Объяснение было простое. На карточках, естественно, упоминались имена людей, возглавлявших советские и партийные учреждения во время блокады и немало сделавших для спасения города и его жителей. В их числе был, конечно, и Попков¹⁸, ставший жертвой «культы личности». Мотивировалось же это варварское решение, разумеется, другим — никому, мол, не нужна эта работа. А что же раньше смотрели? Семнадцать человек, изнемогавших от голода, под бомбами и сна-

рядами, целые годы посвятили этой работе, считая, что вносят вклад в историю, что позднее, когда отойдут в прошлое ужасы войны, люди начнут изучать героическую эпопею Ленинграда и найдут здесь ценнейший для них документальный материал. Ведь кроме нашей «Коллекции» никто такой работой не занимался. Это были уникальные картотеки. Короче говоря, приехали грузовики с мешками, свалили в них все карточки, увезли и сдали в макулатуру.

Прошло много лет, Попков и его соратники давно уже посмертно реабилитированы, историки изучают эпоху войны и, в частности, историю Ленинграда в период блокады. Они приходят за библиографическими справками в Библиотеку и получают, конечно, много меньше, чем могли бы получить, если бы сохранилась эта живая, пропитанная дыханием времени летопись.

Единственное, что уцелело из этих материалов, кроме, разумеется, самой коллекции (книг, документов, плакатов и пр.) — это составленный нами (мною и Каратыгиной) библиографический указатель «Героическая оборона Ленинграда», куда вошли подобранные по темам наиболее интересные и значительные источники: книги, журналы и газетные статьи. Но и эта книга долго находилась в ссылке, в отделе спецхрана, и только после XX съезда партии вышла на свободу.

Несмотря на тяжелые условия, в которых приходилось работать в «Коллекции», бывали у нас и забавные моменты. В наш коллектив входил сейчас уже покойный Николай Иванович Кашменский¹⁹. Это был очень некрасивый человек, с лицом как бы вырубленным топором. Но он был не только умен и образован, но обладал поэтическим даром. Наряду с вдохновенными лирическими стихами, он легко писал памфлеты и эпиграммы. Материала для этого в нашем коллективе было более чем достаточно. Начать с того, что я вечно препиралась и ссорилась с Верой Александровной. Меня раздражал ее властный характер, нетерпимость и резкость, и я не молчала. Все это происходило в одной комнате, на глазах у всех товарищей. Были и другие поводы для высмеивания. И вот Николай Иванович в стихотворной форме очень мило и незлобливо подшучивал над нами. Все его произведения того времени сохранились в архиве «Коллекции».

Однажды, когда он высмеял нас всех, верней, каждого в отдельности, и преподнес каждому на каталожной карточке его «характеристику», я не выдержала и ответила ему за всех. К сожалению, его стихов я не помню, а мое было такое:

Согнувшись низко над столом,
Сидит и длинно мелко пишет,
А сам, не будь дурак, кругом

Что надо и не надо слышит.
Потом, собрав сырья запас,
Насмешек пули льет умело,
И, обстреляв спокойно нас,
Вновь принимается за дело.

* * *

В 1941 году стояли неслыханные морозы. За мою долголетнюю жизнь в Ленинграде, а раньше в Петербурге, я не помню ничего подобного. Город постепенно превращался в ледяную пустыню. Мало помалу выходил из строя транспорт, трамваи стояли, вмерзшие в снег, неподвижные. Народу становилось все меньше — кто ушел на фронт, кто эвакуировался, кто умер, кто лежал и ждал смерти. А те, что еще дышали, ходили больше на тени, чем на людей. На службу приходилось идти пешком, мое путешествие с Петроградской стороны продолжалось примерно час, раньше — с Красноармейской — около двух. А выдачи по карточкам с каждым днем уменьшались. Двести грамм хлеба на целый день и тарелка-две жидкого супа, вернее, воды, с плавающими в ней редкими крупинками. Стали искать заменители. Покупали на рынке столярный клей — уже научились различать его сорта по цвету. Варили из него отвратительный студень. Делали лепешки из дуранды. Этот продукт выдавался по карточкам на нашу собачонку-фокстерьера, зарегистрированного, как породистого, в обществе охотников на Литейном проспекте. Из дрожжей делали сыр. Сейчас уже не припомню, какими изысканными блюдами мы питались. Каждая крошка была на учете. А тут еще почти неизбежные и, во всяком случае, очень частые потери или воровство продовольственных карточек, почти равносильные смерти. Со мной это случалось не раз. Вытаскивали, чуть не на глазах из сумки, а то и с ней вместе, все карточки, мои, мамыны и Валиныны²⁰, все столовые талоны. Это была настоящая трагедия. Но как-то держались — кончался месяц, и получались новые карточки.

Между прочим, у меня было сравнительно привилегированное положение — я получала раз в месяц так называемый ученый паек, сравнительно сносный, а по тем временам, великолепный, но он хорош был бы, и то более или менее, на одного человека, а не на семью. Потом, когда выдачи пайка прекратились, стала получать карточку первой категории и дополнительную к ней, значительно лучшие, чем обычная служебная карточка, и, тем более, иждивенческая.

Несмотря на все эти блага, мы с Валею, как и остальные ленинградцы, превратились в людей двух измерений, а мама умерла от дистрофии летом 1942 года. Можно себе представить, каково было тем, кто не пользовался такими привилегиями. И самое страшное было даже не в физиче-

ском состоянии, вызванном длительным голоданием, не в слабости, не в «ватных ногах», не в отечных лицах, а в изменениях человеческой психики. Когда я вспоминаю себя и других в те дни, мне кажется, что все мы были просто ненормальные. Спасала только работа, активность, твердое решение не сдаваться, не лежать пластом, а двигаться, ощущать себя живым человеком, а не живым трупом. Многие погибали именно от равнодушия, от апатии — все становилось безразлично, даже интерес к еде пропадавал. А этот интерес к еде и входил основным элементом в тогдашнюю нашу жизнь и в тогдашнюю нашу психику, которую я назвала ненормальной. О еде думали непрерывно, о еде говорили каждые два человека при встрече, о еде не забывали ни на минуту. Это было ужасно. И первым признаком выздоровления, когда разомкнулось кольцо блокады, было как раз то, что постепенно стали разговаривать на другие темы, а затем еда и вовсе исчезла из наших бесед.

Для меня голод и его воздействие на окружающих был страшнее, чем бомбежки и начавшиеся вскоре обстрелы. Страшнее их была и вся вообще блокадная обстановка с ее темнотой, холодом, замершим водопроводом и канализацией. На улицах была абсолютная темнота — никаких фонарей, ни просвета в зашторенных окнах (за просветы платили штраф), на машинах — синие фары. Иногда пройдет человек с маленьким электрическим фонариком, направляющий его свет себе под ноги, — ну и увянешься за этим человеком, пока ему с тобой по дороге. Некоторые все же что-то различают в темноте, я же абсолютно слепну. Только в лунные ночи было лучше, но зато в эти ночи было больше налетов. Чтобы не сталкиваться с встречными на тротуарах, стали носить на груди светящиеся бляшки.

Однажды, вернувшись поздно домой, я вошла в наш двор — парадная была наглухо закрыта и ход был со двора. Тут начинается рассказ в духе Эдгара По²¹. Двор у нас небольшой. Я вошла в ворота и направилась, как мне казалось, наискосок, прямо к нашей черной лестнице. Ничего подобного входу на лестницу я не обнаружила и стала метаться по двору, уже потеряв всякую ориентацию. Натыкалась на штабеля дров, которыми был загроможден двор, провалилась одной ногой в открытый люк, находившийся вблизи нашего подъезда, но двери найти не могла. Исчезла бесследно, как в страшной сказке.

В это время из второго двора появился человек с фонариком. Я окликнула его, но он не слышал или, скорее, не обратил внимания. Это тоже было в духе времени. Так продолжалось не меньше полчаса. Отчаявшись наконец попасть нормальным путем в свою квартиру, в то время уже совершенно пустую, где мы остались вдвоем с Валею, которая в ту ночь была на дежурстве, я решила прибегнуть к другому способу. Выбравшись чудом из двора на улицу, я вошла в чужую парадную, квартиры которой выходили

черным ходом на нашу лестницу. В этой парадной я никогда не была и добраться в темноте до лестницы оказалось делом тоже нелегким. Но вот, наконец, перила. Надо подняться на четвертый этаж, где живут не то что бы знакомые, но знающие нас люди — инженер, жена его врач и две дочки. В точности, расположения их квартиры на лестничной клетке я тоже не знала. На мое счастье, как раз в этот момент, в свою квартиру входили какие-то жильцы, и они объяснили мне, куда идти. Я стала стучать. А в то время попасть в чужую квартиру, да еще ночью, было не так-то просто. Запирались на все замки и щеколды, как в осажденной крепости, и когда после опроса убеждались, что ничего угрожающего нет, начинали звенеть и грохотать все задвижки, ключи и цепочки. Так открыли и мне, когда я себя назвала и объяснила, в чем дело. Дальше уже было просто — они проводили меня со свечой через свою квартиру и выпустили на мою лестницу. И холодная, одинокая комната, после этих жутких странствий показалась мне самым уютным уголком в мире.

От холода в квартирах спасались только «буржуйкой». Как-то Алеша²² написала мне из Сталинабада²³: «Наверно вы там сидите с ногами на диванах». Она имела в виду старые добрые времена, когда, забравшись уютно с ногами на диван, мы вели с ней дружеские беседы. На это я ответила ей письмом, которое так и было озаглавлено: «О ногах и диванах». В нем я описала ей подробно наше времяпрепровождение, когда мы втроем — я, Валя и Мария Григорьевна Либерман, прожившая у нас долго в дни блокады, — действительно залезали с ногами на диван, закутанные во все теплое, что было в квартире, и, в полной темноте или при слабом свете коптилки, развлекали друг друга разговорами, воспоминаниями, чтением на память стихов и рассказов.

В этом «культурном» времяпрепровождении главная роль принадлежала Марии Григорьевне. Обладая великолепной памятью, очень приятным голосом и отчасти даже профессиональным умением чтицы, она часами занимала нас, отвлекая от тяжелых мыслей и ощущений. От нее я в первый раз услышала сказку Горького «Девушка и смерть». Стихов она знала наизусть великое множество и читала их отлично. Так обрисовала я в письме к Алеше нашу блокадную жизнь «с ногами на диванах». Очевидно, они там не очень-то хорошо представляли себе, как мы живем, потому что письмо мое произвело на нее сильное впечатление и открыло ей глаза на многое.

А между тем, знакомые мои и друзья, эвакуировавшиеся из Ленинграда, писали мне отчаянные письма. Им было так трудно, одиноко, так плохо на чужбине, что они всей душой стремились обратно и даже завидовали нам, оставшимся. Не припомню, когда я писала столько писем — ласковых и успокоительных, как в это время, в ответ на жалобы. Одной моей

приятельнице — Марии Исаевне Островской, юристу, работавшей в первые годы Советской власти со мной в Правовой секции, я написала даже что она сможет, когда вернется, поселиться у меня. Так оно и было. Наступила весна 1942 года. Замерзший город, похороненный под сугробами снега, просыпался. Вместе с радостью пробуждения, радостью от появления тепла и солнца это сулило ужасы. Под снегом таились настоящие клоаки, очаги заразы. Сколько времени уже не действовал водопровод, замерзли канализационные трубы. Город утопал в грязи и нечистотах. Пока была зима — это было незаметно и нестрашно. С наступлением же весны над городом нависла угроза эпидемий. И тут был дан клич: «Все на очистку города». Люди откликнулись на этот призыв — истощенные, измученные, голодные, вооружились лопатами и пошли спасать город. Чудо свершилось — все оттаяло, и никаких тифозных или других эпидемических заболеваний не было.

Теперь днем на улицах мы наслаждались — светило солнце, было тепло, к тому же, город летом превратился, если не в цветущий сад, то в зеленый огород. Надо было спасаться от голода, и все включились в «огородную кампанию». Даже мы, наша группа, работавшая в «Коллекции», посадили овощи в садике, примыкавшем к зданию Вольно-экономического общества. Этот садик, совершенно лишенный солнечного света, был абсолютно непригоден для растений, но мы шли по линии наименьшего сопротивления — подходящего участка не получили, а за город ездить не было сил. В результате у нас ничего не выросло, кроме ботвы. Но самая работа на воздухе была полезна и доставляла удовольствие.

По мере приближения немцев к Ленинграду, Нарвская застава становилась уже не только фронтом, но и передним краем. Началось переселение жителей в менее опасные районы города. У нас в квартире была свободная комната. В двух жили мы, в двух — много лет жила семья инженера Усикова, а в пятой — случайные люди. Как раз в это время комната пустовала, и в нее вселили семью из трех человек — молодую женщину — жену фронтовика, с ребенком и матерью мужа. Наша квартира и то, что в ней происходило, довольно типична для того времени. Поэтому остановлюсь на ней подробно.

Здесь надо сказать, что люди очень разно вели себя в тяжелых условиях блокады. Прежде всего, это относится к питанию. Одни не могли противостоять ощущению вечного голода и съедали сразу с утра весь хлебный паек и в первые несколько дней месяца — весь остальной паек, полученный по карточкам. Другие относились к этому вопросу более разумно, я бы сказала более культурно, и хоть и с большим трудом, но сдерживались и стара-

... лишь обеспечить еду на целый день. Слово «еда», конечно, тут неуместно. Но все равно, это было лучше, чем ничего. Подсушенный на буржуйке тоненький, как бумажка, ломтик хлеба, тарелка жидкого супа — смешно сказать, но многим они сохранили жизнь.

Так вот, эта вселенная к нам семья не умела жить так организованно, и результатом было то, что все они умерли. Первой умерла молодая женщина, второй — мать ее мужа, ребенок же, тоже умирающий, еще некоторое время жил в детских яслях. Очень тяжело было и в семье наших соседей Усиковых. Там было двое мужчин, а мужчины, особенно как раз здоровые, переносили голод гораздо хуже, чем женщины, и смертность среди них была очень высокая. Женщины делали все, чтобы спасти своих мужей и сыновей, порой жертвуя ради них собственной жизнью. Леонид Георгиевич (сосед) и сын его школьник Игорь были в очень тяжелом состоянии. Он же ждал эвакуации завода, на котором работал. Но дело затягивалось. И вот однажды, раздается звонок с черного хода. Валя отворяет дверь и видит двух офицеров, очень оживленных и довольных. Один из них говорит, что приехал на машине за своей семьей. А жена его в это время уже умерла, мать же лежала в комнате у Усиковых и тоже при последнем дыхании.

Валя так опешила, что не решилась ничего ему сказать и пропустила их в квартиру. Здесь он узнал о смерти жены и прожил у Усиковых три-четыре дня пока не умерла его мать. Тогда жене Леонида Георгиевича пришло в голову, что машиной может воспользоваться ее семья — это был единственный шанс на спасенье. Она убедила офицера, и он согласился вывезти их всех четверых из города. Ребенок остался в яслях и тоже вскоре умер. Усиковы быстро собрались и уехали, поселив в своих комнатах близкую родственницу. Дальнейшая судьба этой семьи оказалась все-таки трагической. В пути у Леонида Георгиевича началась дизентерия — обычный спутник дистрофии. Им пришлось остановиться в каком-то городе и положить его в больницу. Там он и умер, почти не приходя в сознание.

Продолжаю о нашей квартире. Эвакуировались и жившие в бывшей людской мать и дочь. Уехала Мария Григорьевна. Мама умерла еще летом 1942 года. Умерла и наша домработница. Пришлось усыпить и нашу маленькую собачонку, красивого, нервного, живого фокстерьера. Он от голода стал совершенно ненормальным. Мы никак не решались умертвить его. И тут сыграла роль Мария Григорьевна, обожавшая собак и укорявшая нас за жестокость, за то, что мы даем собаке так мучиться. Наконец, Валя повела собачку через весь город на ветеринарный пункт, где ее и усыпили.

Теперь мы остались в квартире втроем, верней вдвоем, потому что с родственницей Усиковых мы совсем не общались. Валя работала на радио, я в Библиотеке, в одном с ней районе, который основательно обстреливался. Попадали бомбы и в оба наши здания, но человеческих жертв не было.

После отбоя я, с замиранием сердца, звонила Вале по телефону. Вообще совершенно непонятно, как я, при моем, до нелепости беспочвенном, характере могла выносить эту постоянную угрозу, висевшую над головой самого близкого мне человека. Очевидно условия жизни, привычка, неизбежность происходившего выработали какой-то иммунитет. Как ночью под вой сирены, я могла спать, зная, что Валя дежурит в какой-то больнице — таком соблазнительном для гитлеровцев объекте бомбежки. И только на утро я бежала в жакт и звонила ей по телефону и, не получая иного раз ответа, не умирала тут же у телефона.

Между тем, все чаще среди жертв бомбежек и обстрелов стали попадаться знакомые имена. Настигла беда и семью, о которой я упоминала, описывая свои метания по темному двору, через квартиру которых я попала к себе домой. Младшая дочь, цветущая пятнадцатилетняя девочка как-то пошла в город к своей матери, работавшей в качестве врача. Та отпустила ее домой одну. Переходя Марсово поле, она попала в бомбежку. Укрыться было негде. Щели, вырытые по всему полю мало-помалу превратились в общественные уборные, особенно после того, как в городе вышла из строя канализация. Никто уже не прятался в них при бомбежках и обстрелах. Девочка получила осколочные ранения обеих ног. В больнице хирурги сказали матери, что без ампутации неизбежна гангрена. Мать отвела: «Может быть, молодой организм справится, а если нет, пусть лучше умрет». И девочка умерла через несколько дней.

Умерла попавшая под обстрел женщина-врач Казарновская, близкий друг Либерманов, талантливый бактериолог, член Ленинградского Совета. Каждый день можно было ждать новых потерь.

* * *

Моментами в эту мрачную картину врываются забавные штрихи. Ведь, несмотря на все, люди еще не совсем разучились улыбаться. Вот, например, живая сцена. Иду как-то мимо длинной очереди у маленького магазина. На двери магазина белеет бумажка. Интересно, конечно, посмотреть, «что дают». Подхожу и читаю: «Конфет нет и не будет, а, если вам делать нечего, стойте». И что вы думаете? Стоят. Ну как тут не улыбнуться!

* * *

В блокаду мы очень сблизились с Верой Александровной Каратыгиной. Сближала нас общая работа, общие интересы. К тому же у нас с ней все время было одинаковое материальное положение — обе мы получали ученый паек, а после его отмены дополнительные продовольственные карточки первой категории. Обе обедали в привилегированных столовых, не для всех доступных — сперва в Северном ресторане, потом в столовой Академии наук, на Васильевском острове. И всюду надо было ходить пешком.

Мы шагали с ней через весь город, в зимние морозы и в весеннюю распутицу. Только в эти страшные дни блокады я как бы впервые увидела Ленинград, и никогда он не казался мне таким красивым — этот измученный, но не сдававшийся город. Мы с Верой Александровной не раз любовались видом с набережной Невы у Дворцового моста, когда подходили к Академии наук. А потом чудесным ансамблем улицы Росси с Александринским театром, изрешеченным пулями. Как-то дорог нам становился этот город, и не хотелось покидать его. Вопрос об отъезде не раз возникал у нас с Валею, хотя бы потому что нас настойчиво звали родные, обосновавшиеся уже к тому времени в тылу. Но мы ехать не хотели. Пока была жива мама, об этом вообще не могло быть и речи, так как она бы не вынесла поездки. Но после ее смерти мы могли бы уехать. Что же этому мешало? Я очень ясно отдаю себе отчет, почему мы обе, несмотря на все, оставались в Ленинграде. Прежде всего, ехать, в сущности, было некуда. Таких близких людей, которые жили бы постоянно где-то в тылу, были бы устроены и могли без жертв для себя надолго принять нас, в природе не существовало. Все же наши эвакуанты сами перебивались с трудом, и сесть к ним на шею мы не могли и не хотели. Все письма из тыла свидетельствовали о том, что люди мечутся и не находят себе места в жизни, теряют свое лицо. Вот этого мы больше боялись. Ведь у нас с Валею были такие «гуманитарные» профессии, с которыми найти работу в чужом городе, особенно в городе, переполненном беженцами, было бы очень трудно, верней, невозможно. Ну, и последнее, может быть, и не самое важное, но не безразличное, — это то, что хоть и с риском, но мы сохранили здесь и крышу над головой и все свое имущество. Конечно, нам очень повезло — мы не только остались живы и целы, но даже окна в нашей квартире не были выбиты, хотя кругом все улицы были засыпаны стеклами. Объяснялось это тем, что окна наши выходили на пустырь, и деревья задерживали воздушную волну. Итак, все эти соображения, собранные на одной чаше весов, перетянули другую, где основное было — физическая безопасность, сохранение жизни.

Реакция на обстрелы и бомбежки у нас с Верой Александровной была одинаковая. Бомбоубежищ мы не любили. Но вот вспоминаю один действительно страшный случай. Мы как-то вышли с ней из Библиотеки и пересекли Невский. Не успели мы отойти от Садовой, как раздался взрыв, и [сверкнула — публ.] ослепительная вспышка — на Садовой близко от Невского разорвалась бомба. Выла сирена, налет продолжался, и бомбили именно этот район. Укрыться было негде, ни одного подъезда с открытой дверью, никакого бомбоубежища. Возвращаться в Библиотеку было опасно. Как раз в этот момент подошел и остановился около нас трамвай. Мы подбежали, я увидела номер и крикнула Вере Александровне: «Не наш номер». Она уже входила на площадку и отмахнулась: «Не все ли равно!» Мы

проехали ровно одну остановку, и кондуктор заявил, что все должны слезть, трамвай дальше не пойдет. Это была обычная история. Во время бомбежек и обстрелов движение транспорта приостанавливалось, о чем даже говорилось по радио. Мне казалось это бессмысленным, так как людей высаживали на улицу прямо под бомбы и снаряды вместо того, чтобы быстро вывезти их из опасного района. Возможно, это делалось потому, что движущийся трамвай был удобной мишенью для прицела. Так или иначе, мы очутились на улице — было уже темно, мокро и грязно, до дома очень далеко. Но выхода не было. Надо было идти. Она жила на Васильевском острове, я — на Петроградской стороне. И мы пошли. Сперва все не было. Путешествие было длинное и жуткое — полная незащищенность, почти полное безлюдье, темнота. Наконец добрались до Среднего проспекта Васильевского острова, где она жила, и только тогда раздалась приятнейшая для ушей мелодия отбоя. Пошли трамвай, и я добралась домой.

Библиотека совершенно преобразилась. Чудесные, светлые читальные залы пустовали, все кругом было заморожено, сотрудники частью умерли, частью разъехались, кто сражался на фронте, кто работал в госпиталях, кто эвакуировался. Вся жизнь сосредотачивалась теперь в более или менее отапливаемой квартире нижнего этажа, где сейчас находится Отдел внешних работ²⁴. Там же жила Елена Филипповна Егоренкова²⁵, занявшая пост директора Библиотеки после отъезда Вольпера. Люди были неизвестные — исхудавшие, почерневшие, постаревшие, закутанные с головы до ног, и вообще какие-то странные, не похожие на себя.

Наступил момент, когда ходить пешком на службу не было уже сил. Отсиживались и отлеживались дома. И вот еще что было очень страшно. Сегодня вы видите человека, разговариваете с ним, а завтра узнаете, что его уже нет — умер, тихо, незаметно ушел из жизни, угас. Эта смертность, вернее, вымирание населения Ленинграда, встревожила не на шутку центральные власти. Тогда-то, в конце 1941 года и начали функционировать так называемые «стационары», нечто вроде временных, на короткие сроки, санаториев. Они оборудовались в каких-нибудь более или менее подходящих общественных зданиях и снабжались продуктами значительно выше нормы. Пользование стационарами предоставлялось в первую голову наиболее истощенным работникам, притом, преимущественно, ответственным. Это было мероприятие, вызванное, главным образом, боязнью лишиться квалифицированных кадров.

Елена Филипповна, заботам которой я была обязана привилегированным питанием, включила меня в первую группу сотрудников, направляемых в стационар. Он был оборудован в здании Педагогического института

м. Герцена²⁶. Валя и Игорь очень опасавшиеся за мою жизнь, очень рады были этой неожиданной возможности, если не восстановить, то хотя бы поддержать мои силы. Мы отправились с Валею под вечер, пешком, вещи везли на детских санках. Добрались до Института, вошли во двор и не знаем, куда идти дальше. И вдруг увидели в полутьме людей, которые шли цепочкой один за другим. Впрочем, это были не люди, а призраки — как-то жуткая процессия, шествие теней, как в символических постановках пьес Метерлинка. Эти закутанные, сторбленные, еле передвигающие ноги призраки, как я сразу почуяла, и были наши библиотечные сотрудники, направляющиеся в помещение стационара. Мы пошли за ними. В большой комнате, с рядом параллельно стоявших кроватей, было тепло и светло, но оказалось, что еще не все организовано к прибытию первой партии — не завезены продукты. Валя посидела и ушла. Часов в 11 вечера все налажилось. И вот — неслыханное чудо — нам приносят по глубокой тарелке горячей гречневой каши. Нельзя себе представить — не гречневую кашу, конечно, а то, что для нас она значила. Думаю, что все деликатесы, которыми угощали Хрущева на завтраках и обедах в Америке²⁷, не выдержали бы сравнения с этой тарелкой гречневой каши. Да еще с маслом и с добавкой при желании. За этим последовал портвейн, плитка шоколада и, уж не помню, какие еще фантастические события. Началась необычайная жизнь. Мы целые дни лежали, читали, и нам приносили еду три раза в день. Конечно мучила мысль о домашних. Когда Валя приходила навестить меня, я давала ей сбереженные для дома продукты — шоколад, сахар, блокадный жир-гусалин. Все это блаженство было зафиксировано на десять дней, а оборвалось на день раньше. Пришлось мне самой тащиться через весь город со своими санками. Когда я вошла в квартиру, меня охватил ужас. За время моего отсутствия все изменилось. Картина была такая: все лежат, комнаты не убраны, стоит кокой-то незнакомый большой сосуд с водой. Что-то странное, очевидно, произошло. Выяснилось, что замерз водопровод, что сегодня не выдали из-за этого даже обычного ничтожного хлебного пайка, и что домработница весь день бегает по булочным и стоит в очередях. К счастью, я захватила с собой немного хлеба из стационара, дала им и побежала искать домработницу и сменить ее, если нужно. Но хлеб выдали только на следующий день. С этого времени началась еще более трудная жизнь. Не стало воды, надо было ходить за ней на Неву. В некоторых районах были водоразборные колонки, в других — воду можно было раздобыть только непосредственно из реки.

Недавно Ольга Берггольц очень картинно описала в прекрасном очерке «Путь за Невскую заставу»²⁸, какие трудности надо было преодолеть, чтобы попасть с набережной на замершую Неву и обратно по ледяному скату или, в лучшем случае, по вырубленным во льду ступенькам. Теперь

на улицах появились новые жанровые картинки: санки с бидонами, кастрюлями, бутылками, ведрами и впряженные в них люди-призраки, длинные очереди на берегу и на льду у проруби, откуда черпалась вода. Я со страхом наблюдала, как Валя склонялась над прорубью, опасаясь, чтобы она не упала в нее вместе с бидоном.

Откуда только брались силы у истощенных до полусмерти людей! Помню, как мы с Валею втащили на второй этаж трехметровое бревно. Или еще: однажды, придя домой, я застала потоп — вся кухня, передняя и две наши комнаты были под водой примерно на четверть метра. Диваны, столы и стулья высились над ней как острова. Вода хлестала из замершей уборной. Что было делать? Кроме нас двоих в квартире была только сестра Усиковой, которая заявила, что до ее комнаты вода не дошла, и, поэтому, ее дело — сторона. Домработница наша была в больнице. И вот мы с Валею ковшами, кастрюлями вычерпали всю воду, причем, каждое ведро надо было сносить с лестницы и выливать во дворе, да еще с опасностью налететь на штраф, т. к. это было запрещено. Полагалось ходить для этого через улицу, на пустырь. До сих пор не понимаю, как нам удалось справиться с этой сумасшедшей работой. Очевидно, это и есть так называемое «второе дыхание», являющееся на выручку, когда первое пришло к концу.

Постепенно в городе почти не осталось никого из наших друзей и знакомых.

* * *

Оставалась в Ленинграде и Адель Семеновна Волина, бывшая сотрудница Дома Плеханова. Ее инвалидность мешала ей куда-нибудь двинуться. А положение создавалось тяжелое — сын был арестован в начале войны и так и пропал в неизвестности, а дочь с детьми эвакуировалась. Адель Семеновна осталась одна с домработницей, которая нещадно ее обворовывала, пользуясь тем, что Адель Семеновна была прикована к кровати. Жила Адель Семеновна на Миллионной улице в двухэтажном доме старинной постройки. У нее была маленькая, с большим вкусом обставленная квартира, с красивыми вещами, множеством русских и иностранных книг — настоящий уголок культуры. Кроме ее семьи, в квартире заняты были посторонними еще две комнаты. Во время бомбежек все население квартиры спасалось в бомбоубежище, оборудованном в соседнем доме. Так как Адель Семеновна не могла ходить, ее оставляли одну в квартире или перетаскивали с трудом в бомбоубежище. Опасность усугублялась тем, что квартира находилась в верхнем этаже. В конце концов, ее решили просто поселить в бомбоубежище, куда народ собирался только при вое сирены. Целые дни она проводила там одна. Как-то я пришла ее навестить и, узнав, что она находится в бомбоубежище, направилась туда. Это оказался ог-

ременный подвал, подzemелье, с низким потолком, уставленное кроватями, и где-то, в глубине его я нашла ее — единственное живое существо во всем помещении. Было одиноко, неуютно и тоскливо.

Но все это было ничего в сравнении с более поздним моим посещением. На этот раз в бомбоубежище ее не было. Я вошла в квартиру. Началось с того, что парадная дверь оказалась открытой, как если бы в квартире никого не было. Открыты были и двери в комнаты жильцов и в ту комнату, которую занимала Адель Семеновна. Везде царил тишина, пыль и запустение. Я прошла дальше, вглубь квартиры, и очутилась в комнате, заставленной ведрами, тазами, бидонами и прочей хозяйственной утварью. Беспорядок, грязь, картина полного развала и равнодушия к человеческим условиям существования — картина, нередкая в дни блокады и говорящая о том, что живущие тут люди, если еще и живы, то не надолго. И вдруг вижу на кровати поднимается и садится какая-то незнакомая мне фигура с исключенными волосами. Адель Семеновна! Эта — всегда с иголочки одетая, чистая, красивая Адель Семеновна! Спрашиваю ее, в чем дело? Неужели она одна в квартире? И никто ей не помогает? Выясняется, в соседней комнате лежит с воспалением легких соседка, потерявшая мужа, что утром к ним забегает какая-то девушка и кое-как их обслуживает, а иногда и не забегает. Вот и сегодня она не пришла, и они сидят даже без хлеба. Кроме того, как раз конец месяца и у них не получены продовольственные карточки. Чем помочь? Ясно, что так жить нельзя, надо перебираться в больницу или, лучше, в дом инвалидов, на улице Смольного. Оказывается, какие-то ее знакомые уже хлопчут об этом — не так-то легко туда попасть. Я обещала со своей стороны помочь в этом, если удастся, а пока что сбегала в жакт за карточками и принесла их паек. Ушла я оттуда с тяжелым сердцем. Через некоторое время узнала, что Адель Семеновне удалось устроиться в Дом инвалидов. Навещая ее там изредка, я с грустью наблюдала, как постепенно угасает, если не ее интеллект, то интерес к чему-либо, кроме мелочей окружающей жизни. Даже читать она перестала — затемнение, плохое освещение, а потом пропала и тяга к книге, физическая жизнь еще продолжалась, духовная замирала. Да и ничего удивительного в этом не было. Условия были тяжелые — полуголодная диета, полная неподвижность и кругом в этой огромной палате почти сплошь некультурные люди, притом инвалиды: одни — прикованные к постели, другие — почти лишённые интеллекта, третьи — в состоянии крайнего нервного возбуждения, и лишь несколько человек на всю палату, с которыми можно было нормально общаться. А тут еще гуманные нововведения — у всех отняли казенное белье и одеяла: пусть пользуются своим.

Как-то явилась ко мне сестра из Дома инвалидов с запиской от Адель Семеновны, сообщавшей о постигшем ее бедствии. Я послала ей, что

могла, а через некоторое время вернулась из эвакуации ее дочь. Но, к сожалению, Адели Семеновне так и не удалось вернуться домой и пожить в уютной семейной обстановке. Она умерла скорострительно от паралича сердца.

* * *

Значительную часть блокадного периода провела в Ленинграде и Татьяна Зиновьевна. Мы работали вместе с ней в «Коллекции» Каратыгиной, но и потом, когда уже не могли преодолевать пешком большие расстояния, мы держали постоянную связь. Приходя к ней, я попадала в типичную и очень страшную блокадную обстановку. Она жила с мужем, дочерью, матерью и семьей сестры. Никто из них не получал никаких дополнительных пайков. Первым умер ее муж, и бред его до последней минуты был о двухстах граммах хлеба. Целую неделю его нельзя было похоронить, и это тоже, оказывается, можно было вынести.

Когда я приходила к ним, я заставляла тяжелую картину: все лежат, есть нечего, настроение подавленное, беспросветное. К ним тоже вселили семью из опасного района. Это была простая многодетная семья, и скоро вся она вымерла. Татьяна Зиновьевна была уже в таком состоянии, что, если бы не настойчивость ее дочери, она, конечно, не выжила бы. Дочь заставила ее уехать. А в это время уже близки к смерти были ее сестра и зять, причем, последний лежал в одной больнице, а сестра — в другой. И эти два, очень любящие друг друга человека так и не смогли ни разу повидаться и проститься. Оставалась в Ленинграде и мать Татьяны Зиновьевны. Думаю, что только ненормальное психическое состояние, которое обычно сопутствовало дистрофии, апатия, безразличие ко всему, помогли Виктории увезти мать от близких людей, остававшихся в ленинградском аду. Ведь для Татьяны Зиновьевны мать и сестра были самыми дорогими существами, и вряд ли она, будучи в нормальном состоянии, согласилась бы на отъезд. Конечно, речь шла о жизни дочери. Этот мотив тоже сыграл свою роль. Так или иначе, они обе уехали, и остались живы. Сестру и мать я еще навещала после их отъезда, но скоро не стало и их.

* * *

Однажды к нам явился неожиданный визитер. Вызвав меня в отдельную комнату, он сказал, что завтра заедет за мной на машине, и мы поедем в Большой дом. При этом заверял, что мне совершенно нечего бояться, что дело касается не меня, а просто надо получить от меня какие-то сведения. Назавтра кто-то действительно заехал за мной, и вот я очутилась впервые в жизни в этом здании.

Тишина, чистота, широкие коридоры. Ждать пришлось недолго. Меня проводили в большую, светлую комнату. За письменным столом сидел до-

вольно молодой, красивый военный, подтянутый и очень любезный. Прежде всего, он стал уверять меня, какой я великолепный работник и как они меня уважают и ценят. Они, мол, знают, какую ответственную работу я выполняю, и как это важно. После этого, несколько неожиданного истораживающего предисловия начались конкретные разговоры: Дом Плеханова, Розалия Марковна, сотрудники и, наконец, Александра Тимофеевна Шакол — Алеша. И это оказалось главным пунктом, фокусом, в котором все сходилось. Ее выслали из Ленинграда, как опасный элемент, а я, зная это, пошла на вокзал ее провожать. Тут меня осенило. Откуда он знает? И целая цепь фактов, промелькнувших в голове, привела к неопровержимому выводу²⁹ [...], больше некому. Он слышал все наши разговоры с Алешей, когда она приходила ко мне на службу и, не стесняясь присутствием окружающих, жаловалась на свою несправедливую высылку. Не скрывала и я, что провожала ее на вокзал. Но почему именно [...]? А потому, что этот человек, с которым у меня не было ровно ничего общего, с которым мы говорили только о служебных делах, вдруг, ни с того, ни с сего, стал являться ко мне домой. Истощенный, голодный, уже немолодой человек, он тащился ко мне пешком через весь город, в лютые морозы. Зачем? Чтобы повидаться со мной, навестить меня, справиться о моем самочувствии? Это исключалось. Он приходил, усаживался и начинал какие-то дурацкие теоретические разговоры. Что-то он хотел вытянуть из меня, поймать на каких-то ересьях, собрать «материал». Но делал это так глупо и неуклюже, так все было шито белыми нитками, что я сразу смекнула, для кого он старается. И принимала я его так любезно, что большим мужеством, с его стороны, было повторять свои визиты.

Но возвращаясь в Большой дом. Когда речь зашла об Алеше и ее высылке, я сказала, что хорошо знаю ее и что она совершенно советский человек. Это было мое искреннее убеждение — она действительно была, несмотря на ее бывший «анархизм», настоящим советским человеком, и высылка ее была абсолютно бессмысленна. Тогда он сказал: «Что же, по-вашему, ее напрасно выслали?» Я ответила: «Бывают ошибки». Тут он расшарпел, всю галантность как рукой сняло. Начал орать. Да как вы смеете, вы — человек, возглавляющий учреждение, человек, к которому относятся с уважением сотрудники, какой пример вы им подаете, и так далее, в том же духе.

Выкричавшись, он дал мне лист бумаги и сказал, что уйдет на некоторое время, а я чтобы составила список всех моих знакомых, всего моего «опасного окружения».

Я стала думать, кого включить в список, чтобы по возможности не называть никого лишнего. Правда, не такая я была преступница, чтобы связь со мной представляла опасность, но все равно не хотелось в этом учрежде-

нии называть какие бы то ни было фамилии. Это значило привлечь к ним внимание, тем более, что фамилии эти надо было написать на бумаге. Я спокойно обдумала, как и что писать, и к его возвращению покончила с этим делом. Как ни странно, но я вообще, переступив порог этой комнаты, совершенно перестала волноваться. Так бывало со мной обычно на экзаменах — волновалась только до тех пор, пока не сяду на стул против экзаменатора.

Он вернулся, просмотрел список и опять заговорил, хотя и не об Алексе, но о тесно связанном с ней вопросе — о разгоне сотрудников Музея революции. Знаю ли я, за что сняли Каплана³⁰ с поста директора Музея? Ответила, что не знаю. Опять разозлился. Как это я могу не знать? Ну, словом, меньшевизм, вредные установки. «Мне это неизвестно». «Не может быть». И все со злостью, уже ничему не верит. После этой милой, приятной беседы он говорит, что я должна помочь им, особенно в такое тяжелое военное время, когда нужна особая бдительность — мало ли, что у людей на уме. Да, но я никогда не занимаюсь на службе разговорами, в Библиотеке почти не бываю, мало с кем знакома, а к чужим разговорам не прислушиваюсь и к тому же очень плохо слышу. Все-таки настаивает. Особенно их интересует мое «интеллигентское окружение». Ну что ж, все равно не вывернешься, и я же знаю, что никогда ничего ни о ком не скажу такого, что может причинить человеку вред. Пустая формальность, и очень распространенная во время войны.

Кстати я ему сказала: «А вашего [...] вы больше ко мне не присылайте, пожалуйста, а то я его спущу с лестницы» — что-то в этом роде. И он не возражал, только усмехнулся.

Я просидела с ним несколько часов. Человек, приехавший за мной, обещал, что меня обратно тоже доставят на машине. Но, конечно, надул, никакой машины не было. Я вышла из Дома, к счастью, в первый и последний раз. Было совсем темно. Надо было переходить Неву. Только теперь я почувствовала, как он измотал меня этим бессмысленным, никому не нужным допросом. Если в этом проявляется их бдительность, думалось мне, то можно их поздравить. Алеша, окружение, близкая мне «группа интеллигентов» — какая чепуха! Измученная, усталая, в тяжелом настроении, в предвидении этой моральной пытки я дотащилась домой, где никому, кроме Вали, ничего не рассказала.

Через несколько дней снова визитер. Увожу его в самую дальнюю комнату. На этот раз он объясняет мне, чем вызван такой усиленный интерес к моей особе. Оказывается, их страшно тревожит Розалия Марковна и ее дочери. Пусть они не враги Советского Союза, он готов этому поверить, но нельзя поручиться за их знакомства и связи. Они сами могут не знать, какие помыслы у людей, которых они могут направить в Дом Плеханова. А

друг это шпионы и диверсанты, надо быть бдительным. О, боже, что за чушь! Кого они засылают в Дом Плеханова? За все время, что там работаю, никто из-за границы от них не приезжал. Но что поделаешь с этими бдительными органами государственной безопасности — их не убедишь. Хорошо, обещаю я, если кто-нибудь приедет в Дом Плеханова из-за границы, я немедленно сообщу. На этом пока кончается. Я, конечно, абсолютно уверена в том, что никто не приедет, особенно сейчас, в военное время.

* * *

Кончилась война. Мы с Татьяной Зиновьевной вернулись в Дом Плеханова. Теперь мы остались с ней вдвоем, не считая машинистки. Последние сотрудники Дома — Куприянова и Климович — уехали в эвакуации.

Комментарии

¹ Воспоминания Е. С. Коц впервые опубликованы в издании: Исторический архив. 1999. № 3. С. 75—106. Печатается с небольшими сокращениями.

² Всего вышло 8 сборников. М., 1934—1940.

³ Молотов Вячеслав Михайлович (1890—1986) — в годы войны зам. пред. Совета народных комиссаров СССР, зам. пред. Государственного Комитета обороны, нарком иностранных дел СССР.

⁴ ОВ — отравляющие вещества.

⁵ В 1920-е годы Публичная библиотека, с целью уменьшения напряженности в работе читальных залов в Главном здании, приближении книги к широким кругам читателей и рационального использования переданных ей вместе с помещениями библиотек, организует ряд филиалов. После Октябрьской революции Библиотеке было передано здание бывшего Императорского Вольного экономического общества вместе с фондами библиотеки. На ее базе в 1920-х годах был образован филиал Публичной библиотеки — Библиотека народного хозяйства (в последующем — местного хозяйства и краеведения). С 1951 г. эти помещения занимает Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н. К. Крупской, теперь Санкт-Петербургский университет культуры и искусств.

⁶ Климович Виктор Осипович (Иосифович) (1885—?) — сотр. ГПБ (1939—1942), б-рь Дома Плеханова. Вел библиографическую, каталогизационную и техническую работу по составлению картотеки «Плехановиана». Был выслан из Ленинграда в августе 1942 г. как немец.

⁷ Волина-Полоцкая Адель Семеновна (1880—1944 или 1945) — переводчик, библиотечкарь-архивист, библиограф, сотр. ГПБ (1922—1925, 1929—1938), б-рь Дома Плеханова. Занималась разбором плехановского архива, подготовкой рукописей к печати. Принимала участие в создании каталогов и указателей к архивному фонду и в составлении библиографии произведений Г. В. Плеханова.

⁸ Плеханова Розалия Марковна (1856—1949) — медик, общественный деятель, жена Г. В. Плеханова.

⁹ Лукашевская Тереза (Татьяна) Зиновьевна (1891—1965) — библиотечкарь-архивист, сотр. ГПБ (1929—1942, 1944—1950). Занималась разбором и описанием рукописей плехановского архива, обработкой эпистолярного наследия Плеханова, со-

данием картотек и указателей. Провела каталогизацию материалов архива Л. Г. Дейча. Участвовала в работе по созданию коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне».

¹⁰ Последний из напечатанных сборников «Литературного наследия Г. В. Плеханова» (Сб. 8, ч. 1) вышел в свет в 1940 г. В Доме Плеханова хранится корректура второй части восьмого сборника. Материалы, подготовленные для девятого — одиннадцатого сборников, впоследствии использованы при издании «Философско-литературного наследия Г. В. Плеханова» (Т. 1—3. М., 1973—1974).

¹¹ Куприянова Елизавета Анатольевна (1882—?) — библиотекарь, сотр. ГПБ (1935—1940), б-рь Дома Плеханова. Занималась инвентаризацией и каталогизацией архивных материалов, участвовала в составлении «Плехановианы».

¹² Семенова Евгения Эрастовна — см. с. 110, № 145. В Доме Плеханова расшифровывала рукописи писем иностранных корреспондентов Г. В. Плеханова. В качестве библиотекаря занималась библиотечно-технической обработкой и каталогизацией новых поступлений, вела каталоги, выполняла машинописные работы. Работала в группе по созданию коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне».

¹³ Имеется в виду Иванова Апполинария Ивановна (1891—?) — уборщица Дома Плеханова (начало 30-х гг. — 1941).

¹⁴ Каратыгина Вера Александровна (1896—1966) — библиотекарь, библиограф, сотр. ГПБ (1938—1966), зав. II филиалом (Библиотека местного хозяйства). В годы блокады руководила работой по созданию коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне».

¹⁵ Вольпер Александр Христофорович — см. с. 167, № 105.

¹⁶ Об эвакуации наиболее ценных коллекций ГПБ в Мелекес см. во второй части настоящего издания.

¹⁷ Бриллиант Владимир Александрович (1883—1969) — юрист, библиотековед, экслибрист. В ГПБ (1921—1952) зав. Отд. картографии.

¹⁸ Попков Петр Сергеевич — см. с. 106, № 64.

¹⁹ Кашменский Николай Иванович (1886—1953) — экономист, библиограф, сотр. ГПБ (1941—1953), плановик-экономист Библиотеки.

²⁰ Коц Валентина Александровна — дочь Е. С. Коц.

²¹ По Э. (1809—1849) — американский писатель-романтик, классик «страшной», фантастической, двойнической новеллы.

²² Алеша — Александра Тимофеевна Шакол — сотрудница Музея революции в Ленинграде, знакомая Е. С. Коц.

²³ Столица Таджикистана Душанбе в 1929—1961 годах называлась Сталинабадом.

²⁴ Ныне — Отдел внешнего обслуживания.

²⁵ Егоренкова Елена Филипповна — см. с. 106, № 65.

²⁶ Ныне Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

²⁷ Имеется в виду визит в США Председателя Совета Министров Н. С. Хрущева по приглашению президента США Д. Эйзенхауэра с 15 по 27 сентября 1959 г., имевший огромный общественно-политический резонанс в мире.

²⁸ Правильно: Берггольц О. Ф. Поход за Невскую заставу // Новый мир. 1959. № 7. С. 6—61.

²² В воспоминаниях Е. С. Коц названа фамилия человека, которого она подозревает в измене. В публикации она не приводится, так как подробности данного дела остались за пределами воспоминаний. Документов, подтверждающих справедливость таких подозрений, нет, однако известно, что этот человек был репрессирован.

²³ Кацман Михаил Борисович (1887—?) — директор Музея революции в Ленинграде. Уволен и отправлен в ссылку в 1934 году.

Публикация и комментарии И. В. Смирновой.